

Владимир Набоков. Весна в Фиальте

Весна в Фиальте облачна и скучна. Все мокро: пегие стволы платанов, можжевельник, ограды, гравий. Далеко, в бледном просвете, в неровной раме синеватых домов, с трудом поднявшихся с колен и ошупью ищущих опоры (кладбищенский кипарис тянется за ними), расплывчато очерченная гора св. Георгия менее чем когда-либо похожа на цветные снимки с нее, которые тут же туриста ожидают (с тысяча девятьсот десятого года, примерно, судя по шляпам дам и молодости извозчиков), теснясь в застывшей карусели своей стойки между оскалом камня в аметистовых кристаллах и морским рококо раковин. Ветра нет, воздух тепл, отдает гарью. Море, опоенное и опресненное дождем, тускло оливково; никак не могут вспениться неповоротливые волны.

Именно в один из таких дней раскрываюсь, как глаз, посреди города на крутой улице, сразу вбирая все: и прилавок с открытками, и витрину с распятиями, и объявление заезжего цирка, с углом, слизанным со стены, и совсем еще желтую апельсиновую корку на старой, сизой панели, сохранившей там и сям, как сквозь сон, старинные следы мозаики. Я этот городок люблю; потому ли, что во впадине его названия мне слышится сахаристо-сырой запах мелкого, темного, самого мятого из цветов, и не в тон, хотя внятнее, звучание Ялты; потому ли, что его сонная весна особенно умащивает душу, не знаю; но как я был рад очнуться в нем, и вот шлепать вверх, навстречу ручьям, без шапки, с мокрой головой, в макинтоше, надетом прямо на рубашку!

Я приехал ночным экспрессом, в каком-то своем, паровозном, азарте норовившем набрать с грохотом как можно больше туннелей; приехал невзначай, на день, на два, воспользовавшись передышкой посреди делового путешествия. Дома я оставил жену, детей: всегда присутствующую на ясном севере моего естества, всегда плывущую рядом со мной, даже сквозь меня, а все-таки вне меня, систему счастья.

Со ступеньки встал и пошел, с выпученным серым, пупастым животом, мужского пола младенец, ковыляя на калачиках и стараясь нести зараз три апельсина, неизменно один роняя, пока сам не упал, и тогда мгновенно у него все отняла тремя руками девочка с тяжелым ожерельем вокруг смуглой шеи и в длинной, как у цыганки, юбке. Далее, на мокрой террасе кофейни официант вытирал столики; с ним беседовал, опершись с моей стороны на перила, безнадежно усатый продавец сложных, с лунным отливом, сластей в безнадежно полной корзине. Моросить не то перестало, не то Фиальта привыкла, и уже сама не знала, чем дышит, влажным ли воздухом или теплым дождем. На ходу набивая из резинового кисета трубку, прочного вывозного сорта англичанин в клетчатых шароварах появился из-под арки и вошел в аптеку, где за стеклом давно изнемогали от жажды большие бледные губки в синей вазе. Боже мой, какое я ощущал растекающееся по всем жилам наслаждение, как все во мне благодарно отзывалось на шорохи,

запахи этого серого дня, насыщенного весной, но в себе еще ее не чующего! Голова у меня была прозрачна после бессонной ночи; я все понимал: свист дрозда в миндальном саду за часовней, и мирную тесноту этих жилых развалин вместо домов, и далекое за вуалью воздуха, дух переводящее море, и ревнивый блеск взъерошенных бутылочных осколков по верху стены (за ней штукатурная гордость местного богатея), и объявление цирка, на эту стену наклеенное; пернатый индеец, на всем скаку выбросив лассо, окрутил невозможную зебру, а на тумбах, испещренных звездами, сидят одуроченные слоны.

Тот же англичанин теперь обогнал меня. Мельком, заодно со всем прочим, впитывая и его, я заметил, как, в сторону скользнув большим аквамаринovým глазом . с воспаленным лузгом, он самым кончиком языка молниеносно облизнулся. Я машинально посмотрел туда же и увидел Нину.

Всякий раз, когда мы встречались с ней, за все время нашего пятнадцатилетнего... назвать в точности не берусь: приятельства? романа?.. она как бы не сразу узнавала меня; и ныне тоже она на мгновение осталась стоять, полуобернувшись, натянув тень на шее, обвязанной лимонно-желтым шарфом, в исполненной любопытства, приветливой неуверенности... и вот уже вскрикнула, подняв руки, играя всеми десятью пальцами в воздухе, и посреди улицы, с откровенной пылкостью давней дружбы (с той же лаской, с какой быстро меня крестила, когда мы расставались), всем ртом трижды поцеловала меня и зашагала рядом со мной, вися на мне, прилаживая путем прыжка и глиссады к моему шагу свой, в узкой рыжей юбке с разрезом вдоль голени.

-- Фердинандушка здесь, как же,-- ответила она и тотчас в свою очередь вежливенько и весело осведомилась о моей жене.

-- Штатается где-то с Сегюром,-- продолжала она о муже,-- а мне нужно кое-что купить, мы сейчас уезжаем. Погоди, куда это ты меня ведешь, Васенька?

Собственно говоря, назад в прошлое, что я всякий раз делал при встрече с ней, будто повторяя все накопление действия с начала вплоть до последнего добавления, как в русской сказке подбирается уже сказанное при новом толчке вперед. Теперь мы свиделись в туманной и теплой Фиальте, и я не мог бы с большим изяществом праздновать это свидание (перечнем, с виньетками от руки крашенными, всех прежних заслуг судьбы), знай я даже, что оно последнее; последнее, говорю; ибо я не в состоянии представить себе никакую потустороннюю организацию, которая согласилась бы устроить мне новую встречу с нею за гробом.

Я познакомился с Ниной очень уже давно, в тысяча девятьсот семнадцатом, должно быть, судя по тем местам, где время изнашивалось. Было это в какой-то именинный вечер в гостях у моей тетки, в ее Лужском имении, чистой деревенской зимой (как помню первый знак приближения к нему: красный амбар посреди белого поля), Я только что кончил лицей; Нина уже обручилась: ровесница века, она, несмотря на малый рост и худобу, а может быть благодаря им, была на вид значительно старше своих лет, точно так же, как в тридцать два казалась намного моложе. Ее

тогдашний жених, боевой офицер из аккуратных, красавец собой, тяжеловатый и положительный, взвешивавший всякое слово на всегда вычищенных и выверенных весах, говоривший ровным ласковым баритоном, делавшимся еще более ровным и ласковым, когда он обращался к ней; словом, один из тех людей, все мнение о которых исчерпывается ссылкой на их совершенную порядочность (прекрасный товарищ, идеал секунданта), и которые, если уже влюбляются, то не просто любят, а боготворят, успешно теперь работает инженером в какой-то очень далекой тропической стране, куда за ним она не последовала.

Зажигаются окна и ложатся, с крестом на спине, ничком на темный, толстый снег: ложится меж них и веерный просвет над парадной дверью. Не помню, почему мы все повысыпали из звонкой с колоннами залы в эту неподвижную темноту, населенную лишь елками, распухшими вдвое от снежного дородства: сторожа ли позвали поглядеть на многообещающее зарево далекого пожара, любовались ли мы на ледяного коня, изваянного около пруда швейцарцем моих двоюродных братьев; но воспоминание только тогда приходит в действие, когда мы уже возвращаемся в освещенный дом, ступая гуськом по узкой тропе среди сумрачных сугробов с тем скрип-скрип-скрипом, который, бывало, служил единственной темой зимней неразговорчивой ночи. Я шел в хвосте; передо мной в трех скользких шагах шло маленькое склоненное очертание; елки молча торговали своими голубоватыми пирогами; оступившись, я уронил и не сразу мог нащупать фонарь с мертвой батареей, который мне кто-то всучил, и тотчас привлеченная моим чертыханием, с торопящимся, оживленно тихим, смешное предвкушающим смехом, Нина проворно повернулась ко мне. Я зову ее Нина, но тогда едва ли я знал ее имя, едва ли мы с нею успели что-либо, о чем-либо... "Кто это?"-- спросила она любознательно, а я уже целовал ее в шею, гладкую и совсем огненную за шиворотом, накаленную лисьим мехом, навязчиво мне мешавшим, пока она не обратила ко мне и к моим губам не приладила, с честной простотой, ей одной присущей, своих отзывчивых, исполнительных губ.

Но взрывом веселья мгновенно разлучая нас, в сумраке началась снежная свалка, и кто-то, спасаясь, падая, хрустя, хохоча с запышкой, влез на сугроб, побежал, охнул сугроб, произвел ампутацию валенка, И потом до самого разъезда так мы друг с дружкой ни о чем и не потолковали, не сговаривались насчет тех будущих, вдаль уже тронувшихся, пятнадцати дорожных лет, нагруженных частями наших несобранных встреч, и следя за ней в лабиринте жестов и теней жестов, из которых состоял вечер (его общий узор могу ныне восстановить только по другим, подобным ему, вечерам, но без Нины), я был, помнится, поражен не столько ее невниманием ко мне, сколько чистосердечнейшей естественностью этого невнимания, ибо я еще тогда не знал, что, скажи я два слова, оно сменилось бы тотчас чудной окраской чувств, веселым, добрым, по возможности деятельным участием, точно женская любовь была родниковой водой, содержащей целебные соли, которой она из своего ковшика охотно поила всякого,

только напомни.

-- Последний раз мы виделись, кажется, в Париже,-- заметил я, чтобы вызвать одно из знакомых мне выражений на ее маленьком скуластом лице с темно-малиновыми губами: и действительно: она так усмехнулась, что будто я плоско пошутил или, подробнее, как будто все эти города, где нам рок назначал свидания, на которые сам не являлся, все эти платформы, и лестницы, и чуть-чуть бутафорские переулки, были декорациями, оставшимися от каких-то других доигранных жизней и столь мало относившимися к игре нашей судьбы, что упоминать о них было почти безвкусно.

Я сопровождал ее в случайную лавку под аркадами; там, в бисерной полутьме, она долго возилась, перебирая какие-то красные кожаные кошельки, набитые нежной бумагой, смотря на подвески с ценой, словно желая узнать их возраст; затем потребовала непременно такого же, но коричневого, и когда, после десятиминутного шелеста, именно такой чудом отыскался, она было взяла из моих рук монеты, но вовремя опомнилась, и мы вышли, ничего не купив.

Улица была все такая же влажная, неживленная; чадом, волнуящим татарскую мою память, несло из голых окон бледных домов; небольшая компания комаров занималась штопанием воздуха над мимозой, которая цвела, спустя рукава до самой земли; двое рабочих в широких шляпах закусывали сыром с чесноком, прислонившись к афишной доске, на которую были наклеены гусар, укротитель в усах и оранжевый тигр на белой подкладке, причем в стремлении сделать его как можно свирепее художник зашел так далеко, что вернулся с другой стороны, придав его морде кое-что человеческое.

-- Au fond (В сущности (франц.)), я хотела гребенку,-- сказала Нина с поздним сожалением.

Как мне была знакома ее зыбкость, нерешительность, спохватки, легкая дорожная суета! Она всегда или только что приехала или сейчас уезжала. Если бы мне надо было предъявить на конкурс земного бытия образец ее позы, я бы, пожалуй, поставил ее у прилавка в путевой конторе, ноги свиты, одна бьет носком линолеум, локти и сумка на прилавке, за которым служащий, взяв из-за уха карандаш, разду^львает вместе с ней над планом спального вагона.

В первый раз за границей я встретил ее в Берлине, у знакомых. Я собирался жениться; она только что разошлась с женихом. Я вошел, увидел ее издали к машинально, но безошибочно, определил, оглянув других мужчин в комнате, кто из них больше знает о ней, чем знал я. Она сидела с ногами в углу дивана, сложив свое небольшое, удобное тело в виде зета; у каблучка стояла на диване пепельница; и всмотревшись в меня, и вслушавшись в мое имя, она отняла от губ длинный, как стебель, мундштук и протяжно, радостно воскликнула: "Нет!" (в значении "глазам не верю"), и сразу всем показалось, ей первой, что мы в давних приятельских отношениях: поцелуя она не помнила вовсе, но зато (через него все-таки) у нее осталось общее впечатление чего-то задушевного, воспоминание какой-то дружбы, в

действительности никогда между нами не существовавшей. Таким образом весь склад наших отношений был первоначально основан на небывшем, на мнимом благе, если, однако, не считать за прямое добро ее беспечного, тороватого, дружеского любострастия. Встреча была совершенно ничтожна в смысле сказанных слов, но уже никакие преграды не разделяли нас, и, оказавшись с ней рядом за чайным столом, я бессовестно испытывал степень ее тайного терпения.

Потом она пропадает опять, а спустя год я с женой провожал брата в Вену, и когда поезд, поднимая рамы и отворячиваясь, ушел, и мы направились к выходу по другой стороне дебаркадера, неожиданно около вагона парижского экспресса я увидел Нину, окунувшую лицо в розы, посреди группы людей, мне раздражительно незнакомых, кольцом стоявших и смотревших на нас, как зеваки смотрят на уличное препирательство, найденыша или раненого, то есть явно провожавших ее. Она махнула мне цветами, я познакомил ее с Еленой Константиновной, и на этом ускорявшем жизнь вокзальном ветерке было достаточно обмена нескольких слов для того, чтобы две женщины, между собой во всем различные, уже со следующей встречи друг дружку называли по именам, так свободно уменьшая их, точно они у них порхали на устах с детства. Тогда-то, в синей тени вагона, был впервые упомянут Фердинанд: я узнал, что она выходит за него замуж. Пора было садиться, она быстро, но набожно всех перецеловала, вошла в тамбур, исчезла, а затем сквозь стекло я видел, как она располагалась в купе, вдруг забыв о нас, перейдя в другой мир, и было так, словно все мы, державшие руки в карманах, подглядывали ничего не подозревавшую жизнь за окном, покуда она не очнулась опять, по стеклу барабана, затем вскидывая глаза, вешая картину, но ничего не получалось; кто-то помог ей, и она высунулась, страшно довольная; один из нас, уже вынужденный шагать, передал ей журнал и Таухниц (по-английски она читала только в поезде), все ускользало прочь с безупречной гладкостью, и я держал скомканный до неузнаваемости перронный билет, а в голове назойливо звенел, Бог весть почему выплывший из музыкального ящика памяти, другого века романс (связанный, говорили, с какой-то парижской драмой любви), который певала дальняя моя родственница, старая дева, безобразная, с желтым, как церковный воск, лицом, но одержимая таким могучим, упоительно-полным голосом, что он как огненное облако поглощал ее всю, как только она начинала:

On dit que tu te
maries,
Tu sais que j'en
vais mourir,--

(Говорят что ты женишься,
Ты знаешь, что это меня убьет
(франц.))

и этот мотив, мучительная обида и музыкой вызванный союз между венцом и кончиной, и самый голос певицы, сопроводивший воспоминание, как собственник напева, несколько часов подряд не давали мне покоя, да и потом еще возникали с растущими перерывами, как последние, все реже и все рассеянное приплескивающие, плоские, мелкие волны или как слепые содрогания слабеющего била, после того как звонарь уже сидит снова в кругу своей веселой семьи. А еще через год или два был я по делу в Париже, и у поворота лестницы в гостинице, где я ловил нужного мне актера, мы опять без сговору столкнулись с ней: собираясь вниз, держала ключ в руке, "Фердинанд фехтовать уехал",-- сказала она непринужденно, и посмотрев на нижнюю часть моего лица, и про себя что-то быстро обдумав (любовная сообразительность была у нее бесподобна), повернулась и меня повела, виляя на тонких лодыжках, по голубому бобрику, и на стуле у двери ее номера стоял вынесенный поднос с остатками первого завтрака, следами меда на ноже и множеством крошек на сером фарфоре посуды, но комната была уже убрана, и от нашего сквозняка всосался и застрял волан белыми далями вышитой кисеи промеж оживших половинок дверного окна, выходившего на узенький чугунный балкон, и лишь тогда, когда мы заперлись, они с блаженным выдохом отпустили складку занавески; а немного позже я шагнул на этот балкончик, и пахло с утренней пустой и пасмурной улицы сиреневой сизостью, бензином, осенним кленовым листом: да, все случилось так просто, те несколько восклицаний и смешков, которые были нами произведены, так не соответствовали романтической терминологии, что уже негде было разложить парчовое слово: измена; и так как я еще не умел чувствовать ту болезненную жалость, которая отравляла мои встречи с Ниной, я был, вероятно, совершенно весел (уж она-то наверное была весела), когда мы оттуда поехали в какое-то бюро разыскивать какой-то ею утерянный чемодан, а потом отправились в кафе, где был со своей тогдашней свитой ее муж,

Не называю фамилии, а из приличия даже меняю имя этого венгерца, пишущего по-французски, этого известного еще писателя... мне не хотелось бы распространяться о нем, но он выпирает из-под моего пера. Теперь слава его потускнела, и это меня радует: значит, не я один противился его демонскому обаянию; не я один испытывал физиологический холодок, когда брал в руки очередную его книгу. Молва о таких, как он, носится резво, но вскоре тяжелеет, охлаждаясь до полузабвения, а уж история только и сохранит, что эпитафию да анекдот. Насмешливый, высокомерный, всегда с цианистым каламбуром наготове, со странным выжидательным выражением египетских глаз, этот мнимый весельчак действовал неотразимо на мелких млекопитающих. В совершенстве изучив природу вымысла, он особенно кичился званием сочинителя, которое ставил выше звания писателя: я же никогда не понимал, как это можно книги выдумывать, что проку в выдумке; и, не убоясь его издевательски

любезного взгляда, я ему признался однажды, что будь я литератором, лишь сердцу своему позволял бы иметь воображение, да еще, пожалуй, допускал бы память, эту длинную вечернюю тень истины, но рассудка ни за что не возил бы по маскарадам.

О ту пору, когда я встретился с ним, его книги мне были известны; поверхностный восторг, который я себе сперва разрешал, читая его, уже сменялся легким отвращением, В начале его поприща еще можно было сквозь расписные окна его поразительной прозы различить какой-то сад, какое-то сонно-знакомое расположение деревьев... но с каждым годом роспись становилась все гуще, розовость и лиловизна все грознее; и теперь уже ничего не видно через это страшное драгоценное стекло, и кажется, что если разбить его, то одна лишь ударит в душу черная и совершенно пустая ночь. Но как он опасен был в своем расцвете, каким ядом прыскал, каким бичом хлестал, если его задевали! После вихря своего прохождения он вставлял за собой голую гладь, где ровнехонько лежал бурелом, да вился еще прах, да вчерашний рецензент, воя от боли, волчком вертелся во прахе. Гремел тогда по Парижу его "Passage a niveau", он был очень, как говорится, окружен, и Нина (у которой гибкость и хваткость восполняли недостаток образования) уже вошла в роль, я не скажу музы, но близкого товарища мужа-творца; даже более: тихой советницы, чутко скользящей по его сокровенным извилинам, хотя на самом деле вряд ли одолела хоть одну из его книг, изумительно зная их лучшие подробности из разговора избранных друзей. Когда мы вошли в кафе, там играл дамский оркестр; я мимоходом заметил, как в одной из граненых колонн, облицованных зеркалами, отражается страусовая ляжка арфы, а затем тотчас увидел составной стол, за которым, посреди долгой стороны и спиной к плюшу, председательствовал Фердинанд, и на мгновение эта поза его, положение расставленных рук и обращенные к нему лица сотрапезников напомнили мне с кошмарной карикатурностью... что именно напомнили, я сам тогда не понял, а потом, поняв, удивился кощунственности сопоставления, не более кощунственного, впрочем, чем самое искусство его. Он поглядывал на музыку; на нем был под каштановым пиджаком белый вязаный свитер с высоким сборчатым воротом; над зачесанными с висков волосами нимбом стоял папиросный дым, повторенный за ним в зеркале; костистое и, как это принято определять, породистое лицо было неподвижно, только глаза скользили туда и сюда, полные удовлетворения. Изменив заведениям очевидным, где профан склонен был бы искать как раз его, он облюбовал это приличное, скучноватое кафе и стал его завсегдатаем из особого ему крайне свойственного чувства смешного, находя восхитительно забавной именно жалкую приманку этого кафе: оркестр из полудюжины прядущих музыку дам, утомленный и стыдливый, не знающий, по его выражению, куда девать грудь, лишнюю в мире гармонии. После каждого номера на него находила эпилепсия рукоплесканий, уже возбуждавших (так мне казалось) первое сомнение в хозяине кафе и в его бесхитростных посетителях, но весьма веселивших приятелей Фердинанда. Тут были: живописец с идеально голой, но

слегка обитой головой, которую он постоянно вписывал в свои картины (Саломея с кегельным шаром); и поэт, умевший посредством пяти спичек представить всю историю грехопадения, и благовоспитанный, с умоляющими глазами, педераст: и очень известный пианист, так с лица ничего, но с ужасным выражением пальцев; и молодцеватый советский писатель с ежом и трубочкой, свято не понимавший, в какое общество он попал; сидели тут и еще всякие господа, теперь спутавшиеся у меня в памяти, и из всех двое, трое, наверное, погуляли с Ниной, Она была единственной женщиной за столом, сутулилась, присосавшись к соломинке, и с какой-то детской быстротой понижался уровень жидкости в бокале, и только когда у нее на дне забулькало и запищало, и она языком отставила соломинку, только тогда я наконец поймал ее взгляд, который упорно ловил, все еще не постигая, что она успела совершенно забыть случившееся утром; настолько крепко забыть, что, встретившись со мной глазами, она ответила мне вопросительной улыбкой, и, только всмотревшись, спохватилась вдруг, что следует улыбнуться иначе. Между тем Фердинанд, благо дамы, отодвинув, как мебель, инструменты, временно ушли с эстрады, потешался над севшим неподалеку чужим стариком, с красной штучкой в петлице и седой бородой, в середине вместе с усами образующей уютное желтоватое гнездо для жадно жующего рта. Фердинанда всегда почему-то смешили регалии старости.

Я в Париже пробыл недолго, но за три дня совместного валандания у меня с Фердинандом завязались те жизнерадостные отношения, которые он был такой мастер починать. Впоследствии я даже оказался ему полезен: моя фирма купила у него фабулу для фильма, и уж он тогда замучил меня телеграммами. За эти десять лет мы и на ты перешли, и оставили в двух-трех пунктах небольшие депо общих воспоминаний... Но мне всегда было не по себе в его присутствии, и теперь, узнав, что и он в Фиальте. я почувствовал знакомый упадок душевных сил; только одно ободряло меня: недавний провал его новой пьесы.

И вот уж он шел к нам навстречу, в абсолютно непромокаемом пальто с поясом, клапанами, фотоаппаратом через плечо, в пестрых башмаках, подбитых гуттаперчей, сося невозмутимо (а все же с оттенком смотрите-какое-сосу-смешное) длинный леденец лунного блеска, специальность Фиальты. Рядом с ним чуть пританцовывающей походкой шел Сегюр, хлыщеватый господин с девичьим румянцем до самых глаз и гладкими иссиня-черными волосами, поклонник изящного и набитый дурак; он на что-то был Фердинанду нужен (Нина, при случае, с неподражаемой своей стонущей нежностью, ни к чему не обязывающей, вскользь восклицала: "душка такой, Сегюр", но в подробности не вдавалась). Они подошли, мы с Фердинандом преувеличенно поздоровались, стараясь побольше втиснуть, зная по опыту, что это, собственно, все, но делая вид, что это только начало; так у нас водилось всегда: после обычной разлуки мы встречались под аккомпанемент взволнованно настраиваемых струн, в суете дружелюбия, в шуме рассаживающихся чувств; но капельдинеры

закрывали двери, и уж больше никто не впускался.

Сегюр пожаловался мне на погоду, а я даже сперва не понял, о какой погоде он говорит: весеннюю, серую, оранжереино-влажную сущность Фиалты если и можно было назвать погодой, то находилась она в такой же мере вне всего того, что могло служить нам с ним предметом разговора, как худенький Нинин локоть, который я держал между двумя пальцами, или сверкание серебряной бумажки, поодаль брошенной посреди горбатой мостовой. Мы вчетвером двинулись дальше, все с той же целью неопределенных покупок. "Какой чудный индеец!" -- вдруг крикнул с неистовым аппетитом Фердинанд, сильно теребя меня за рукав, пихая меня и указывая на афишу. Немного дальше, около фонтана, он подарил свой медленный леденец туземной девчонке с ожерельем; мы остановились, чтобы его подождать: присев на корточки, он что-то говорил, обращаясь к ее опущенным, будто смазанным сажой, ресницам, а потом догнал нас, осклабясь и делая одно из тех похабных замечаний, которыми любил орлить свою речь. Затем внимание его привлек выставленный в сувенирной лавке несчастный уродливый предмет: каменное подобие горы св. Георгия с черным туннелем у подножия, оказавшимся отверстием чернильницы, и со сработанным в виде железнодорожных рельсов желобом для перьев. Разинув рот, дрожа от ликования, он повертел в руках эту пыльную, громоздкую и совершенно неменяемую вещь, заплатил не торгуясь, и, все еще с открытым ртом, вышел, неся урода. Как деспот окружает себя горбунами и карлами, он пристращивался к той или другой безобразной вещи, это состояние могло длиться от пяти минут до нескольких дней, и даже дольше, если вещь была одушевленная.

Нина стала мечтать о завтраке и, улучив минуту, когда Фердинанд и Сегюр зашли на почтамт, я поторопился ее увести. Сам не понимаю, что значила для меня эта маленькая узкоплечая женщина, с пушкинскими ножками (как при мне сказал о ней русский поэт, чувствительный и жеманный, один из немногих людей, вздыхавших по ней платонически), а еще меньше понимаю, чего от нас хотела судьба, постоянно сводя нас. Я довольно долго не видел ее после той парижской встречи, а потом как-то прихожу домой и вижу: пьет чай с моей женой и просматривает на руке с просвечивающим обручальным кольцом какие-то шелковые чулки, купленные по дешевке. Как-то осенью мне показали ее лицо в модном журнале. Как-то на Пасху она мне прислала открытку с яйцом. Однажды, по случайному поручению зайдя к незнакомым людям, я увидел среди пальто на вешалке (у хозяев были гости) ее шубку. В другой раз она кивнула мне из книги мужа из-за строк, относившихся к эпизодической служанке, но приютивших ее (вопреки, быть может, его сознательной воле): "Ее облик,-- писал Фердинанд,-- был скорее моментальным снимком природы, чем кропотливым портретом, так что припоминая его, вы ничего не удерживали, кроме мелькания разьединенных черт: пушистых на свет выступов скул, янтарной темноты быстрых глаз, губ, сложенных в дружескую усмешку, всегда готовую перейти в горячий поцелуй". Вновь и вновь она впопыхах появлялась на полях моей

жизни, совершенно не влияя на основной текст. Раз, когда моя семья была на даче, а я писал, лежа в постели, в мучительно солнечную пятницу (выколачивали ковры), я услышал ее голос в прихожей: заехала, чтобы оставить какой-то в дорожных орденах сундук, и я никогда не дописал начатого, а за ее сундуком, через много месяцев, явился симпатичный немец, который (по невыразимым, но несомненным признакам) состоял в том же, очень международном союзе, в котором состоял и я. Иногда, где-нибудь, среди общего разговора, упоминалось ее имя, и она сбегала по ступеням чьей-нибудь фразы, не оборачиваясь. Попав в пиренейский городок, я провел неделю в доме ее друзей, она тоже гостила у них с мужем, и я никогда не забуду первой ночи, мной проведенной там: как я ждал, как я был убежден, что она проберется ко мне, но она не пришла, и как бесновались сверчки в орошенной луной, дрожащей бездне скалистого сада, как журчали источники, и как я разрывался между блаженной, южной, дорожной усталостью и дикой жаждой ее вкрадчивого прихода, розовых щиколок над лебяжьей опушкой туфелек, но гремела ночь, и она не пришла, а когда на другой день, во время общей прогулки по вересковым холмам, я рассказал ей о своем ожидании, она всплеснула руками от огорчения и сразу быстрым взглядом прикинула, достаточно ли удалились спины жестикулирующего Фердинанда и его приятеля. Помню, как я с ней говорил по телефону через половину Европы, долго не узнавая ее лающего голоска, когда она позвонила мне по делу мужа: и помню, как однажды она снилась мне: будто моя старшая девочка прибежала сказать, что у швейцара несчастье, и когда я к нему спустился, то увидел, что там, в проходе, на сундуке, подложив свернутую рогожку под голову, бледная и замотанная в платок, мертвым сном спит Нина, как спят нищие переселенцы на Богом забытых вокзалах. И что бы ни случилось со мной или с ней, а у нее тоже, конечно, бывали свои семейные "заботы-радости" (ее скороговорка), мы никогда ни о чем не расспрашивали друг дружку, как никогда друг о дружке не думали в перерывах нашей судьбы, так что, когда мы встречались, скорость жизни сразу менялась, атомы перемещались, и мы с ней жили в другом, менее плотном, времени, измерявшемся не разлуками, а теми несколькими свиданиями, из которых сбивалась эта наша короткая, мнимо легкая жизнь. И с каждой новой встречей мне делалось тревожнее; при этом подчеркиваю, что никакого внутреннего разрыва чувств я не испытывал, ни тени трагедии нам не сопутствовало, моя супружеская жизнь оставалась неприкосновенной, а с другой стороны Фердинанд (сам эклектик в плотском быту, изобретательнейшими способами обирающий природу) предпочитал на жену не оглядываться, хотя, может быть, извлекал косвенную и почти невольную выгоду из ее быстрых связей. Мне делалось тревожно, оттого что попусту тратилось что-то милое, изящное и неповторимое, которым я злоупотреблял, выхватывая наиболее случайные, жалко очаровательные крупички и пренебрегая всем тем скромным, но верным, что, может быть, шепотом обещало оно. Мне было тревожно, оттого что я как-никак принимал Нинину жизнь,

ложь и бред этой жизни. Мне было тревожно, оттого что, несмотря на отсутствие разлада, я все-таки был вынужден, хотя бы в порядке отвлеченного толкования собственного бытия, выбирать между миром, где я как на картине сидел с женой, дочками, доberman-пинчером (полевые венки, перстень и тонкая трость), между вот этим счастливым, умным, добрым миром... и чем? Неужели была какая-либо возможность жизни моей с Ниной, жизни едва воображимой, напоенной наперед страстной, нестерпимой печалью, жизни, каждое мгновение которой прислушивалось бы, дрожа, к тишине прошлого? Глупости, глупости! Да и она, связанная с мужем крепкой каторжной дружбой... Глупости! Так что же мне было делать, Нина, с тобой, куда было сбить запас грусти, который исподволь уже накопился от повторения наших как будто беспечных, а на самом деле безнадежных встреч!

Фиальта состоит из старого и нового города; но между собой новый и старый переплелись... и вот борются, не то чтобы распутаться, не то чтобы вытеснить друг друга, и тут у каждого свои приемы: новый борется честно пальмовой просадью, фасадом меняльной конторы, красным песком тенниса, старый же из-за угла выползает улочкой на костылях или папертью обвалившейся церкви. Направляясь к гостинице, мы прошли мимо еще не достроенной, еще пустой и сорной внутри, белой виллы, на стене которой: опять все те же слоны, расставя чудовищно-младенческие колени, сидели на тумбищах; в эфирных пачках наездница (уже с надрисованными усами) отдыхала на толстом коне; и клоун с томатовым носом шел по канату, держа зонтик, изукрашенный все теми же звездами: смутное воспоминание о небесной родине циркачей. Тут, в бельэтаже Фиальты, гораздо курортнее хрустел мокрый гравий, и слышнее было ленивое уханье моря. На заднем дворе гостиницы поваренок с ножом бежал за развившей гоночную скорость курицей. Знакомый чистильщик сапог с беззубой улыбкой предлагал мне свой черный престол. Под платанами стояли немецкой марки мотоциклетка, старый грязный лимузин, еще сохранивший идею каретности, и желтая, похожая на жука. машина: "Наша, то есть Сегюра,-- сказала Нина, добавив:-- поезжай-ка ты, Васенька, с нами, а?", хотя отлично знала, что я не могу поехать. По лаку надкрыльников пролегал гуаш неба и ветвей; в металле одного из снарядоподобных фонарей мы с ней сами отразились на миг, проходя по окату, а потом, через несколько шагов, я почему-то оглянулся и как бы увидел то, что действительно произошло через полтора часа: как они втроем усаживались, в автомобильных чепцах, улыбаясь и помахивая мне, прозрачные, как призраки, сквозь которые виден цвет мира, и вот дернулись, тронулись, уменьшились (Нинин последний десятипальный привет): но на самом деле автомобиль стоял еще неподвижно, гладкий и целый, как яйцо, а Нина со мной входила на стеклянную веранду отельного ресторана, и через окно мы уже видели, как (другим путем, чем пришли мы) приближаются Фердинанд и Сегюр.

На веранде, где мы завтракали, не было никого, кроме недавно виденного мной англичанина; на столике перед ним стоял большой стакан с ярко-алым напитком, бросавшим овальный отсвет

на скатерть. Я заметил в его прозрачных глазах то же упрямое вожделение, которое уже раз видел, но теперь оно никоим образом не относилось к Нине, на нее он не смотрел совершенно, а направлял пристальный, жадный взгляд на верхний угол широкого окна, у которого сидел.

Содрав с маленьких сухощавых рук перчатки, Нина последний раз в жизни ела моллюски, которые так любила. Фердинанд тоже занялся едой, и я воспользовался его голодом, чтобы завести разговор, дававший мне тень власти над ним: именно я упомянул о недавней его неудаче. Пройдя небольшой период модного религиозного прозрения, во время которого и благодать сходила на него, и предпринимались им какие-то сомнительные паломничества, завершившиеся и вовсе скандальной историей, он обратил свои темные глаза на варварскую Москву. Меня всегда раздражало самодовольное убеждение, что крайность в искусстве находится в некоей метафизической связи с крайностью в политике, при настоящем соприкосновении с которой изысканнейшая литература, конечно, становится, по ужасному, еще мало исследованному свиному закону, такой же затасканной и общедоступной серединой, как любая идейная дребедень. В случае Фердинанда этот закон, правда, еще не действовал; мускулы его музы были еще слишком крепки (не говоря о том, что ему было наплевать на благосостояние народов), но от этих озорных узоров, не для всех к тому же вразумительных, его искусство стало еще гаже и мертвее. Что касается пьесы, то никто ничего не понял в ней; сам я не видел ее, но хорошо представлял себе эту гиперборейскую ночь, среди которой он пускал по невозможным спиральям разнообразные колеса разъятых символов; и теперь я не без удовольствия спросил его, читал ли он критику о себе.

-- Критика!-- воскликнул он.-- Хороша критика Всякая темная личность мне читает мораль. Благодарю покорно. К моим книгам притрагиваются с опаской, как к неизвестному электрическому аппарату. Их разбирают со всех точек зрения, кроме существенной. Вроде того, как если бы натуралист, толкуя о лошади, начал говорить о седлах, чепраках или *M-me de V.* (он назвал даму литературного света, в самом деле очень похожую на оскаленную лошадь). Я тоже хочу этой голубиной крови,-- продолжал он тем же громким, рвущим голосом, обращаясь к лакею, который понял его желание, посмотрев по направлению перста, бесцеремонно указывавшего на стакан англичанина. Сегюр упомянул имя общего знакомого, художника, любившего писать стекло, и разговор принял менее оскорбительный характер. Между тем англичанин вдруг решительно поднялся, встал на стул, оттуда шагнул на подоконник и, выпрямившись во весь свой громадный рост, снял с верхнего угла оконницы и ловко перевел в коробок ночную бабочку с бобровой спинкой.

-- ...это, как белая лошадь Вувермана,-- сказал Фердинанд, рассуждая о чем-то с Сегюром. -- *Tu es tris hippique ce matin* (Ты очень лошадиный с утра (франц.)),-- заметил тот. Вскоре они оба ушли телефонировать. Фердинанд необыкновенно любил эти телефонные звонки дальнего следования и особенно

виртуозно снабжал их, на любое расстояние, дружеским теплом, когда надобно было, как например сейчас, заручиться даровым ночлегом.

Откуда-то издали доносились звуки трубы и цитры. Мы с Ниной пошли бродить снова. Цирк, видимо, выслал гонцов: проходило рекламное шествие; но мы не застали его начала, так как оно завернуло вверх, в боковую улочку: удалялся золоченый кузов какой-то повозки, человек в бурнуса провёл верблюда, четверо неважных индейцев один за другим пронесли на древках плакаты, а сзади, на очень маленьком пони с очень большой челкой, благоговейно сидел частный мальчик в матроске.

Помню, мы проходили мимо почти высохшей, но все еще пустой, кофейни; официант осматривал (и, быть может, потом приголубил) страшного подкидыша: нелепый письменный прибор, мимоходом оставленный на перилах Фердинандом. Помню еще: нам понравилась старая каменная лестница, и мы полезли наверх, и я смотрел на острый угол Нининого восходящего шага, когда, подбирая юбку, чему прежде учила длина, а теперь узость, она поднималась по седым ступеням; от нее шло знакомое тепло, и, поднимаясь мыслью рядом с ней, я видел нашу предпоследнюю встречу, на званом вечере в парижском доме, где было очень много народу, и мой милый Друг Jules Darboux, желая мне оказать какую-то тонкую эстетическую услугу, тронул меня за рукав, говоря: "Я хочу тебя познакомить...", и подвел меня к Нине, сидевшей в углу дивана, сложившись зетом, с пепельницей у каблочки, и Нина отняла от губ длинный бирюзовый мундштук и радостно, протяжно произнесла: "Нет!", и потом весь вечер у меня разрывалось сердце, и я переходил со своим липким стаканчиком от группы к группе, иногда издали глядя на нее (она на меня не глядела), слушал разговоры, слушал господина, который другому говорил: "смешно, как они одинаково пахнут, горелым сквозь духи, все эти сухие хорошенькие шатеночки", и, как часто бывает, пошлость, неизвестно к чему относившаяся, крепко обвилась вокруг воспоминания, питаюсь его грустью.

Поднявшись по лестнице, мы очутились на щербатой площадке: отсюда видна была нежно-пепельная гора в. Георгия с собранием крапинок костяной белизны на боку (какая-то деревушка); огибая подножье, бежал дымок невидимого поезда и вдруг скрылся; еще ниже виден был за разнобоям крыш единственный кипарис, издали похожий на завернутый черный кончик акварельной кисти; справа виднелось море, серое, в светлых морщинах. У ног наших валялся ржавый ключ, и на стене полуразрушенного дома, к которой площадка примыкала, остались висеть концы какой-то проволоки... я подумал о том, что некогда тут была жизнь, семья вкушала по вечерам прохладу, неумелые дети при свете лампы раскрашивали картинки. Мы стояли, как будто слушая что-то; Нина, стоявшая выше, положила руку ко мне на плечо, улыбаясь и осторожно, так чтобы не разбить улыбки, целуя меня. С невыносимой силой я пережил (или так мне кажется теперь) все, что когда-либо было между нами, начиная вот с такого же поцелуя, как этот; и я сказал, наше дешевое, официальное ты заменяя тем

одухотворенным, выразительным вы, к которому кругосветный пловец возвращается, обогащенный кругом: "А что, если я вас люблю?" Нина взглянула, я повторил, я хотел добавить... но что-то, как летучая мышь, мелькнуло по ее лицу, быстрое, странное, почти некрасивое выражение, и она, которая запросто, как в раю, произносила непристойные словечки, смутилась; мне тоже стало неловко... "Я пошутил, пошутил",-- поспешил я воскликнуть, слегка обнимая ее под правую грудь. Откуда-то появился у нее в руках плотный букет темных, мелких, бескорыстно пахучих фиалок, и, прежде чем вернуться к гостинице, мы еще постояли у парапета, и все было по-прежнему безнадежно. Но камень был, как тело, теплый, и внезапно я понял то, чего, видя, не понимал дотоле, почему давеча так сверкала серебряная бумажка, почему дрожал отсвет стакана, почему мерцало море: белое небо над Фиальтой незаметно налилось солнцем, и теперь оно было солнечное сплошь, и это белое сияние ширилось, ширилось, все растворялось в нем, все исчезало, и я уже стоял на вокзале, в Милане, с газетой, из которой узнал, что желтый автомобиль, виденный мной под платанами, потерпел за Фиальтой крушение, влетев на полном ходу в фургон бродячего цирка, причем Фердинанд и его приятель, неуязвимые пройдохи, саламандры судьбы, василиски счастья, отделались местным и временным повреждением чешуи, тогда как Нина, несмотря на свое давнее, преданное подражание им, оказалась все-таки смертной.

Париж. 1938 г.